

---

Лиана КЕРТМАН

## БЕЗМЕРНОСТЬ И ГАРМОНИЯ

(Пушкин в творческом сознании Анны Ахматовой  
и Марины Цветаевой)

«Марину на три версты нельзя подпускать к Пушкину, она в нем не смыслит ни звука»<sup>1</sup> — этот резкий отзыв Анны Ахматовой о цветаевской пушкиниане Лидия Чуковская зафиксировала в своих записках по горячим следам поразившей ее беседы. В чем причина столь категоричного неприятия? Что именно в цветаевском отношении к поэзии и личности Пушкина могло вызвать столь яростный ахматовский протест?

Конкретизации этой мысли, какой-либо развернутой аргументации нет ни здесь, ни в упоминаемых мемуаристами других (не менее жестких) ахматовских высказываниях на ту же тему. Таким образом, Анна Ахматова не оставила нам иной возможности понять эти слова, кроме как сравнить ее пушкиниану с цветаевской.

Периодически предпринимаемые разными критиками попытки сравнения ахматовской и цветаевской поэзии ими обеими воспринимались как неоправданные и неудачные. «Такие сравнения ни у кого не выходят, даже у Марины не

---

<sup>1</sup> Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой: 1952–1962. Т. 2. М.: Согласие, 1997. С. 351.

вышло: Пастернак и Маяковский. Один в таких случаях получается настоящий, а другой — набивная кукла»<sup>2</sup> — так отозвалась Анна Ахматова об опубликованной в 1923 году в парижском еженедельнике «Звено» статье К. Мочульского «Русские поэтессы. Марина Цветаева и Анна Ахматова».

Марина Цветаева еще уничижительнее отозвалась об этой статье: «...статья некоего Мочульского <...> Женская поэзия, об Ахматовой и мне. Если попадетсЯ — прочтите, посмейтесь и пожалейте!»<sup>3</sup> (из письма А. В. Бахраху, 1923).

Возникают, однако, ситуации, когда рождается объективная необходимость сопоставления. Все, что связано с пушкинской жизнью и судьбой, любовью и гибелью, занимало огромное место в их душах, и именно поэтому известная «духовно-эстетическая чужеродность»<sup>4</sup> Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, естественно, проявилась и в их пушкинианах (и в лирике, и в прозе).

Ахматовское выстраданное убеждение: «Есть в близости людей заветная черта, / Ее не перейти влюбленности и страсти...» очень ощутимо в том, *что* и *как* она говорит о Пушкине в своей лирике: любое сокращение дистанции для Ахматовой недопустимо, так как означало бы бестактный переход той «заветной черты», которую она не нарушает ни по отношению к читателям (не посвящая их в тайны своей души и не стремясь погружать в ведомые поэту бездны), ни с близкими людьми («От тебя я сердце скрыла, / Словно бросила в Неву»).

Марина Цветаева всю жизнь жила по другим законам («Руки даны мне — протягивать каждому обе...»; «Взглянул — так и знакомый, / Взошел — так и живи, / Просты наши законы: / Написаны в крови...») — она всегда искала выходы в более вольное духовное пространство, где возможно «чудо доверия и понимания», столь редкое в реальных «земных» человеческих отношениях.

С этим неотступным поиском связано то огромное место, которое в ее жизни всегда занимало эпистолярное общение, и не случайно на той же эмоциональной волне, на какой во многих письмах общалась Марина Цветаева со своими живыми адресатами, звучит в ее стихах о воображаемой встрече с Пушкиным обращенный к нему монолог, где она стремится о себе «все рассказать», все тайны раскрыть.

<sup>2</sup> Чуковская Л. Указ. соч. С. 489.

<sup>3</sup> Цветаева М. Собр. соч. в 7 тт. Т. 6. М.: Эллис Лак, 1995. С. 558.

<sup>4</sup> Это выражение принадлежит Д. Максимова (Воспоминания об Анне Ахматовой. М.: Сов. писатель, 1991. С. 122), но в других словах о том же упоминают многие исследователи и мемуаристы.

Слово «тайна» в ахматовской и цветаевской поэзии часто звучит в прямо противоположных смыслах и контекстах.

У Ахматовой:

Но иным открывается тайна,  
И почиет на них тишина,  
Я на это наткнулась случайно...

«И почиет на них тишина...», — по законам, «в стране Анны Ахматовой» установленным, поэт не должен срывать покровы и обнажать тайны, «случайно» открывающиеся ему: «Лирические стихи — лучшая броня, лучшее прикрытие, там себя не выдашь»<sup>5</sup>. Эта парадоксальная мысль запомнилась многим собеседникам Анны Ахматовой. (Что касается эпистолярного жанра, в котором цветаевская душа так распахнуто «высказывала себя», — известно, что Анне Ахматовой он был глубоко чужд. Возможно, одна из причин ее застарелой «аграфии»<sup>6</sup> заключалась именно в том, что она не хотела и не могла раскрываться, «выдавать себя» без брони...)

В цветаевском же восприятии соотношение тайн души поэта и его лирических стихов звучит так: «Лирический поэт себя песней выдает, выдает всегда»<sup>7</sup> («Искусство при свете совести»). В этих словах речь идет о *невольном* «проговаривании», но цветаевская лирическая героиня, как и сама она в живой жизни, часто переходит «заветную черту» и сознательно: «Мое дело — срывать все личины, иногда при этом задевая кожу, а иногда и мясо» (из письма А. В. Бахраху)<sup>8</sup>.

Такие откровения, безудержные и безжалостные (прежде всего по отношению к самой себе), глубоко чужды этике и эстетике Анны Ахматовой, и с этим различием, казалось бы, не имеющим прямого отношения к пушкинской теме, очень тесно связано коренное расхождение во всем, что они думали и писали о Пушкине: убежденное выдерживание дистанции — и безоглядное сближение; утверждение невозможности проникнуть в тайну Пушкина — и уверенно заявленное «знаю!».

---

<sup>5</sup> Воспоминания об Анне Ахматовой. С. 584 (Наталья Ильина).

<sup>6</sup> Об этом своем свойстве Анна Ахматова и сама не раз говорила. В частности, это слово звучит в одном ее коротком ответе Марине Цветаевой: «Дорогая Марина Ивановна, меня давно так не печалила аграфия, кот<орой> я страдаю уже много лет, как сегодня, когда мне хочется поговорить с Вами. Я не пишу никогда и никому, но Ваше доброе отношение мне бесконечно дорого» (1921. Цит. по: *Цветаева М.* Указ. изд. Т. 6. С. 206). Лидия Чуковская тоже вспоминает ахматовскую «аграфию» и подробно размышляет о ее причинах в своих «Записках».

<sup>7</sup> *Цветаева М.* Указ. изд. Т. 5. С. 349.

<sup>8</sup> Там же. Т. 6. С. 591.

Анна Ахматова никогда не позволила бы себе назвать какую-либо свою работу о Пушкине «Мой Пушкин».

Впрочем, Марина Цветаева утверждала, что «никто не понял, почему *Мой Пушкин*, все, даже самые сочувствующие, поняли как присвоение, а я хотела только: у всякого — свой, *это — мой*. Т.е. в полной скромности <...> А Руднев понял как манию величия...»<sup>9</sup> (курсив мой. — Л. К.). Так писала Марина Цветаева (Вере Буниной), делясь впечатлениями от вечера, где читала отрывки из только что написанной своей работы (принятой, Впрочем, слушателями заинтересованно и доброжелательно, если не считать этого якобы «элементарного» непонимания ими смысла заглавия).

Никакого «присвоения»... — цветаевская искренность несомненна здесь в том смысле, что сама она вкладывала в свое заглавие именно эту суть и, стремясь к справедливости, «на уровне логики» не могла не признать, что каждый человек имеет право на «своего» Пушкина, однако природа ее чувства, когда она поглощенно-самозабвенно любила кого-то или что-то, не совпадала с такой «разумной установкой»: «Тень враждебности падала от ее обладания — книгами, музыкой, природой <...> Движение оттолкнуть, заслонить, завладеть безраздельно, ни с кем не делить...» (из воспоминаний А. Цветаевой<sup>10</sup>).

Свои первые стихи о Пушкине, написанные в 1913 году, Марина Цветаева не назвала «Мой Пушкин», а назвала «Встречи с Пушкиным», но, вспоминая «курчавого мага этих лирических мест» (на фоне «милого Крыма пушкинских прежних времен»), лирическая героиня «видит» — во всей полноте тончайших психологических нюансов! — именно *свою* встречу с ним. Ярко, живописно, пластично, молодо рисует она эту встречу:

Я поднимаюсь по белой дороге,  
Пыльной, звенящей, крутой.  
Не устают мои легкие ноги  
Выситься над высотой.

Одна поднимается, и никого больше не «видит» она не только рядом с собой, но и на всей этой «белой дороге», никто больше не идет по ней...

Во всей земной конкретности воображая эту фантастиче-

<sup>9</sup> Цветаева М. Указ. изд. Т. 7. С. 298.

<sup>10</sup> Цветаева А. Воспоминания. М.: Сов. писатель, 1974. С. 73.

скую встречу («Вижу его на дороге и в гроте / Смуглую руку у лба»), она создает *атмосферу возможного общения* с ним:

Пушкин! — Ты знал бы по первому взору,  
Кто у тебя на пути.  
И просиял бы, и под руку в гору  
Не предложил мне идти.  
Не опираясь о смуглую руку,  
Я говорила б, идя...

И далее — длинный монолог, в котором лирическая героиня «рассказывает себя» — что любит она в мире, чего не приемлет. Доверчивым желанием как можно полнее «донести себя» до собеседника, верой в его добрый и понимающий отклик все это очень напоминает цветаевские письма — как бы в «свободе сна», по ее выражению, произносимый монолог, где так раскованно сердце «высказывает себя»:

...Как глубоко презираю науку  
И отвергаю вождя.  
Как я люблю имена и знамена,  
Волосы и голоса,  
Старые вина и старые троны,  
— Каждого встречного пса! —

<...> Комедиантов и звон тамбурина,  
Золото и серебро,  
Неповторимое имя: Марина,  
Байрона и болеро <...>

Эти слова: никогда и навеки,  
За колесом — колею...  
Смуглые руки и синие реки,  
— Ах, — Мариулу твою! —

Многое в этом стихотворении очень напоминает одно цветаевское письмо, примерно в это же время и примерно из этих же мест написанное (в 1914 году, из Феодосии, В.В. Розанову) — даже «белая дорога» и легкий бег героини по ней как будто «перекочевали» в письмо из этого крымского стихотворения: «Милый Василий Васильевич! Сейчас так радостно, такое солнце, такой холодный ветер. Я бежала по широкой дороге сада <...> чувствовала себя такой легкой, такой свободной <...> и вот еще не знаю, о чем буду писать», «дрожу от восторга, думая о нашей первой встрече в жизни. О чем Вам писать? Хочется все сказать сразу»<sup>11</sup>.

И — во всем, над всем — головокружительный полет души,

---

<sup>11</sup> Цветаева М. Указ. изд. Т. 6. С. 121–122.

безграничная вера: «Вы все понимаете и все поймете, и так радостно Вам это говорить, идти к Вам навстречу, быть щедрой, ничего не объяснять, не скрывать, не бояться»<sup>12</sup>. И в финале «крымского» стихотворения возникает именно такая атмосфера — *взаимопонимания посвященных в одну тайну* (пока не выговариваемую...).

Минуло почти двадцать лет — и каких! — после этого молодого, нежного и вдохновенного «крымского» стихотворения, полного света и доверия к предстоящей жизни, и вот в совсем «другой жизни» (1931, Франция) в цветаевском цикле стихов на пушкинскую тему оживают, уточняясь «до самой сути», мотивы давних строк:

Тогда:

Пушкин, ты знал бы по первому взору,  
Кто у тебя на пути.

(Курсив мой. — Л. К.)

Теперь:

— Прадеду — товарка —  
В той же мастерской!

Тогда:

Мы рассмеялись бы и побежали  
За руку вниз по горе.

Теперь:

— Пушкинскую руку  
Жму, а не лижу!

Такое — «через сотню разъединяющих лет» — рукопожатие в цветаевском мире очень органично. Что же касается коробившего Ахматову «сокращения дистанции» — подобное не раз случалось у Цветаевой в ее живой жизни при встречах с людьми из «той же мастерской» — поэтами.

Всемирное — «поверх барьеров» обстоятельств и времени — братство поэтов занимало в цветаевском мире огромное место, и волнующее ощущение некоего «заговора посвященных» (в одну тайну) часто с первой встречи создавало атмосферу, в которой только что познакомившиеся люди чувствовали особенную душевную близость: «Так вы — родная? Я всегда знал, что вы родная»<sup>13</sup> (слова Андрея Белого, «Пленный дух»).

На этой эмоциональной волне чувствует и осмысляет Марина Цветаева свои «взаимоотношения» с Пушкиным, ведь

<sup>12</sup> Цветаева М. Указ. изд. Т. 6. С. 119.

<sup>13</sup> Там же. Т. 4. С. 243.

еще до большинства живых встреч с поэтами и переписки с Борисом Пастернаком и Рильке, которая так много значила для нее и для них, она сказала в письме Розанову (в том самом, уже цитировавшемся здесь письме!): «Каждый поэт — умерший или живой — действующее лицо в моей жизни»<sup>14</sup>.

Это чувство позволило ей с удивительной непосредственностью фантазировать, воображая, как могли бы в земной жизни сложиться ее отношения с Пушкиным (и чего она хотела бы от этих отношений), если бы они совпали во времени. «Я с Пушкиным, мысленно, с 16-ти лет, — всегда гуляю, никогда не целуюсь, ни разу, ни малейшего соблазна»<sup>15</sup>; «Не хотела бы быть ни Керн, ни Ризнич, ни даже Марией Раевской. Карамзиной. А еще лучше — няней Ибо никому, никому, никогда, с такой щемящей нежностью:

Подруга дней моих суровых,  
Голубка дряхлая моя»<sup>16</sup>

«Дорогой Пушкин! Он бы меня никогда не любил (двойное отсутствие румянца и грамматических ошибок), но он бы со мной дружил до последнего вздоха»<sup>17</sup> (из письма Бахраху).

Этих цветаевских признаний Анна Ахматова, естественно, не читала, но и того «сокращения дистанции», которое она почувствовала в «Моем Пушкине» и в цветаевской лирике на пушкинскую тему, ей, видимо, «хватило» для резкого внутреннего отторжения — для нее самой и в молодые годы, не говоря уже о зрелых, любые размышления и фантазии на тему «Я и Пушкин» были внутренне запретны<sup>18</sup>.

В 1911 году, когда, говоря будущими чеканными ахматовскими словами, еще не «начинался не календарный — настоящий двадцатый век», Анна Ахматова написала:

---

<sup>14</sup> *Цветаева М* Указ изд Т 6 С 120

<sup>15</sup> *Цветаева М* Неизданное Сводные тетради М Эллис Лак, 1997 С. 443

<sup>16</sup> Там же С 451

<sup>17</sup> *Цветаева М* Собр соч Т 6 С 575

<sup>18</sup> Степун в воспоминаниях о Марине Цветаевой пишет о таких ее «сокращениях дистанций» с долей едкой иронии «не рассказывая ничего о своей жизни, она всегда говорила о себе Получалось как то так, что она еще девочкой, сидя на коленях у Пушкина, наматывала на свои пальчики его непослушные кудри, что и ей, как Пушкину < > Жуковский привез из Веймара гусиное перо Гёте» Впрочем, заканчивается этот сюжет в интонации достаточно доброжелательной «Не будем за это строго осуждать Цветаеву Настоящие природные поэты, которых становится все меньше, живут по своим собственным, нам не всегда понятным, а иногда и малопривычным законам» (Воспоминания о Марине Цветаевой М Сов писатель, 1992 С 80)

Смуглый отрок бродил по аллеям,  
У озерных грустил берегов,  
И столетие мы лелеем  
Еле слышный шелест шагов.

«...Мы лелеем...»: ее отношение к поэту — ни на чье другое не похожее — не высказывается, как бы «растворяясь» во всеобщем.

А ведь именно на этих аллеях проходила молодость Анны Ахматовой! «Под сенью» этих — царскосельских, лицейских, пушкинских! — аллея бродил влюбленный в нее (тогда еще гимназистку Аню Горенко) гимназист Николай Гумилев, по этим аллеям ходил глубоко ею чтимый Иннокентий Анненский...

Как «заиграло» бы все это под цветаевским пером! Зная ее прозу о Пушкине, где навеки остались маленькая Муся, азартно бегущая, чтобы непременно первой очутиться у «Памятник-Пушкину» (слитно, как одно слово, ею произносимому), и приход к ним в дом в Трехпрудном переулке сына Александра Сергеевича, и слова родителей об этом визите, и обсуждение его с няней и ее внуком, — зная все это, можно с уверенностью утверждать, что, если бы цветаевские детство и молодость прошли, как у Анны Ахматовой, в Царском Селе, она бы — и именно в связи с Пушкиным! — совсем по-иному написала о тех аллеях.

В других ахматовских стихах о Царском Селе ее лирическому чувству к этим местам дан, разумеется, больший простор, но в пейзаж, где столетие назад «лежала его треуголка / И растрепанный том Парни», та нежная девичья фигурка ею не допущена, и сколько бы она в своей жизни ни бродила по тем аллеям, в стихах о Пушкине не слышно «шелеста» ее шагов.

В определенном смысле Анна Ахматова и Марина Цветаева в этой своей «подводной» эстетической и психологической полемике продолжили «старый спор» русских классиков XIX века: «гармоничного» Тургенева, убежденного, что, как сказано им в финале «Дворянского гнезда», есть «такие мгновения в жизни, такие чувства... На них можно только указать — и пройти мимо», коробили и порой возмущали толстовские (не говоря уже о Достоевских!) погружения в «опасные» душевные глубины героев...

Мудро и афористично сказано об этом коренном расхождении у Ариадны Эфрон: «Марина Цветаева была безмерна, Анна Ахматова гармонична. Отсюда разница их (творческого) отношения друг к другу. Безмерность одной принимала (и любила) гармоничность другой, ну а гармоничность не способна воспринимать безмерность; это ведь немножко не комиль-



фо с точки зрения гармонии» (из письма к Наталье Ильиной)<sup>19</sup>.

Тайна Гения, извечная тайна поэта, его дара и его судьбы, по ахматовскому убеждению, не может быть раскрыта, к ней можно только бережно прикоснуться — вот так:

Кто знает, что такое слава?..  
Какой ценой купил он право,  
Возможность или благодать  
Над всем так нежно и лукаво  
Шутить, таинственно молчать  
И ногу ножкой называть?..

И даже если в подтексте этих стихов и предполагается некая посвященность их автора в тайну, она не может открыто войти в текст — это разрушило бы всю завораживающую магию «легкого», «мерцающего» прикосновения к ней... Да и сама интонация вопроса включает в себя выстраданную убежденность — этого никто не знает и не может знать... Помнила ли Анна Ахматова о цветаевских строках, ставя свой полуриторический вопрос? На это приходится отвечать ее собственными «туманными» словами — «кто знает...».

А в стихах Марины Цветаевой резко и смело утверждает-ся:

Знаем, как «дается»!  
Над тобой, «пустяк»,  
Знаем — как потелось!  
От тебя, мазок,  
Знаю — как хотелось  
В лес — на бал — в возок...

«Кто знает...» — «Знаю!»

В других стихах пушкинского цикла выведен на поверхность еще один мотив, прежде «спрятанный» в настойчивом утверждении своего особого знания, — ревность к *не знающим* (по ее убеждению), но присвоившим себе право обучать людей правильному пониманию Пушкина, — к пушкинистам, уничижительно названным ею «пушкиньянцами».

«Что вы делаете, карлы?»

Цветаевский «образ пушкиниста» — человека, глухого к голосу поэта, чуждого пушкинской сути, «втискивающего» гения в узкие рамки, доступные его пониманию («Пушкин — в меру пушкиньянца?»), — тоже не мог вызвать полного ахматовского сочувствия. Во всяком случае, будучи знакомой с

---

<sup>19</sup> Воспоминания об Анне Ахматовой. С. 589.

талантливыми пушкинистами (Ю. Оксманом<sup>20</sup>, Г. Гуковским), к чьим советам, занявшись исследованиями пушкинской жизни и творчества, она с уважением и интересом прислушивалась, Анна Андреевна могла видеть в этом образе несправедливое обобщение. Разумеется, встречала она и такие статьи о Пушкине, по отношению к которым цветаевский гнев и в ее глазах был оправдан: в стихотворении «Бич жандармов, бог студентов...» Марина Цветаева обрушивает всю силу своего поэтического темперамента на «вечного антагониста» всего, что дорого ей в поэзии и в жизни. Ее отточенные реплики метко — как в фехтовальном поединке! — разят оппонентов, обнажая доходящую до абсурда узость их построений; с жестким сарказмом перечисляются ею «роли», которые пушкинисты этого типа навязывали поэту, чтобы «завербовать его в свои ряды»: «Он, глядевший во все страны, — / В роли собственной Татьяны?»; «Пушкин — в роли пулемета!», «в роли гувернера?»

Такие «роли» не меньше возмущали Ахматову, но она никогда «не впускала» полемику с «глухими» литературоведами в свою лирику, считая, видимо, столь «громкую», «шумную» защиту поэта противоречащей самой сути поэзии, не говоря уж о том, что некоторые в жару острой полемики возникшие цветаевские строки — такие, как «Пушкиным не бейте! Ибо бью вас — им!» — могли и попросту безвкусно прозвучать для ахматовского слуха.

По поводу этих строк возможны возражения не только эстетического, но и нравственного порядка: получается, что азарт борьбы с теми, кто «использует» поэта «в роли пулемета», заставил обратиться к «их методам»?! Пусть ради высокой цели — защиты от ретроградов современных ей талантливых молодых поэтов и самого Пушкина, — но все же *бить* Пушкиным?!

За «живого Пушкина» Анна Ахматова болела не менее остро, чем Марина Цветаева, которая в своей отчаянной борьбе резко восставала против всего холодного, мертвящего, противоречащего пушкинскому «жару». Однако они часто не совпадали в осмыслении того, что в пушкинском мире считать «живым», а что — «мертвечиной».

Не считая возможным полагаться только на свою интуицию, Анна Ахматова стремится к *объективному* знанию. Резко

---

<sup>20</sup> Из дневника Ю. Г. Оксмана: «А. А. очень тронута моей высокой оценкой вставок в ее статью о дуэли и смерти Пушкина <...> Она уверяет, что не печатает статьи из-за моего старого отзыва, в котором я заметил, что в статье “мало мяса”, “кости торчат”» (цит. по: Воспоминания об Анне Ахматовой. С. 641).

отделяя свою лирику от исследовательской работы, по мере все более глубокого погружения в нее она постепенно сама делается пушкинистом, пристально анализирующим как давно известные, так и вновь открывающиеся факты, в свете которых по-новому прочитываются многие пушкинские сюжеты.

Эта принципиальная разница подходов Ахматовой и Цветаевой определила резкое расхождение в их восприятии пушкинской жизни и судьбы. Особенно остро проявилось это в осмыслении ими двух сюжетов.

\* \* \*

«Пушкин — в роли Командора?» — эта «роль» в цветаевском перечислении поставлена в один ряд с «ролями» «мавзолея», «пулемета», «гробокопа» и, очевидно, воспринимается ею как столь же чуждая пушкинской сути, как нечто из мира «мертвечины», противоположного горячему, «скалозубому», «нагловзору» «африканскому самоволу».

Совсем по-иному прочитала этот образ в пушкинском «Каменном госте» Анна Ахматова... Одна из болевых тем ее пушкинианы: «Мне кажется, мы еще в одном очень виноваты перед Пушкиным. Мы почти перестали слышать его человеческий голос в его божественных стихах» («Пушкин в 1828 году») <sup>21</sup>.

Одна из сокровенных сверхзадач ахматовских исследований на пушкинскую тему — «искупить», насколько возможно, эту вину, и потому, когда ей удается «расслышать» глубоко скрытую за объективным (казалось бы) драматическим сюжетом душу поэта — тогда и за ее внешне спокойной, «академической» манерой изложения начинает ощущаться сердечная взволнованность: «Перед нами драматическое воплощение внутренней личности Пушкина» («Каменный гость» Пушкина). Ахматовский анализ «маленькой трагедии» убедительно доказывает, что образ Командора напряженно и драматично соотносился в душе поэта — то есть совсем не как что-то внешнее и чужое ей! — с образом Дон Гуана: «Пушкин карает самого себя — молодого, беспечного и грешного, а тема загробной ревности (т. е. боязни ее) звучит так же громко, как и тема возмездия». Эту пушкинскую «боязнь загробной ревности» — собственной! — Анна Андреевна обнаруживает... в письме его к матери Натальи Гончаровой от 5 апреля 1830 года (перед женитьбой): «Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее; но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей

---

<sup>21</sup> Ахматова А. Собр. соч. в 2 тт. Т. 2. М.: Художественная литература, 1986. С. 179.

вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа, — эта мысль для меня — ад»<sup>22</sup>.

Анна Ахматова — при всей «стилевой» и «поведенческой» сдержанности своей — обостренно реагировала на недостаток внимания (в работах о Пушкине) к конкретным обстоятельствам его жизни в тот или иной момент и чуткости к переживаниям его. В «сюжете с Командором» она имела все основания упрекнуть Марину Цветаеву в таком невнимании.

Не менее острое расхождение связано и с сюжетом об архивах.

В цветаевском стихотворении «Петр и Пушкин» развернуто еще одно яркое фантастическое допущение — попытка вообразить, как сложилась бы судьба поэта, живи он не при яростно ею ненавидимом и заклеяном как «певцеубийца» Николае I, а — при Петре. В цветаевском «сказочном», вымечтанном варианте Петр I понял бы, *кто* перед ним —

Такой же ты камерный юнкер,  
Как я — машкерадный король! —

и отпустил бы на полную волю, так необходимую душе поэта (по себе знает, как невыносимо тесно «в мире мер»!). И — никакой поднадзорности, всю жизнь тяготевшей над нашим «первым невыездным» поэтом («Захочется — так ворочайся! / А нет — так и дверь позабуди!»), никакой неволи:

Уж он бы жандармского сыска  
Не крыл бы «отечеством чувств»!

Все это не должно было бы вызвать ахматовского протеста: «неволю», «жандармский сыск», унижение камер-юнкерством — Анна Ахматова тоже видела «составляющими» драматизма пушкинской судьбы, но Марина Цветаева включила (дважды!) в контекст «подневольности» работу Пушкина в архивах — «исключив» их из вымечтанной ею счастливой судьбы поэта «при Петре I»:

Уж ты б у него по архивам  
Отечественным не закис!

и —

Уж он бы заморскую птицу  
Архивами не заморил!

«Заморил», «закис»... Такое Анна Ахматова не могла чи-

---

<sup>22</sup> Ахматова А. Указ. изд. Т. 2. С. 85.

тать без возмущения: изучив множество писем, мемуаров и других документов пушкинской эпохи, она точно *знала*, как радовался он предоставленной ему царем (после известной встречи) возможности пользоваться архивами, как вдохновенно погружался в них, работая над историей петровской эпохи и пугачевского бунта, как драматично воспринял (наоборот!) угрозу Николая I лишить его права доступа в архивы (в ответ на просьбу об отставке). Трагическим «перекрытием кислорода», необходимого душе поэта для воссоздания «воздуха» минувших эпох, стало бы для Пушкина такое лишение. Эти переживания Ахматова ощущала как очень близкие себе — достаточно вспомнить, как сама она радовалась каждому нашедшемуся документу пушкинской эпохи, как пристально изучала их! Они были ей внутренне необходимы для объективного подтверждения интуитивных догадок.

В отличие от этого научного подхода, в цветаевской «прозе поэта» часто и личность Пушкина, и даже стихи его становятся частью *ее* поэтического мира — порой до такой степени, как будто она сама их написала! (В том смысле, что, будучи страстно убеждена, что *знает*, какие чувства владели душой поэта при создании по-особому приковавших к себе ее внимание строф, она невольно «приписывает» Пушкину свое отношение к жизни.) Яркий и парадоксальный случай такого прочтения — «вольная» интерпретация Мариной Цветаевой одной строфы из пушкинского «К морю»:

Ты ждал, ты звал... Я был окован;  
Вотще рвалась душа моя;  
Могучей страстью очарован,  
У берегов остался я...

«Вотще — это туда, а могучей страстью — к морю, конечно. Получалось, что именно из-за такого желания *туда* Пушкин и остался у берегов.

Почему же он не поехал? Да потому, что могучей страстью очарован, так хочет — что прирос! (В этом меня утверждал весь мой опыт с *моими* детскими желаниями, то есть полный физический столбняк.) И со всем весом судьбы и отказа:

У берегов остался я.

(Боже мой! Как человек теряет с обретением пола, когда *вотще, туда, то, там* начинает называться именем, из всей синевы тоски и реки становится лицом, с носом, с глазами <...> И как мы люто ошибаемся, называя это — *тем*, и как *не* ошибались — тогда!)»<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> Цветаева М. Указ. изд. Т. 5. С. 85.

«Взрослое» знание о страсти поэта к «земной» женщине, пересилившей в тот момент его страсть к морю и жажду побега «на волю», огорчило и разочаровало поэта Цветаеву как «тьма низких истин», разрушающая высокий миф о магической очарованности поэта самим морем, в которой он застыл на берегу (так же восприняла она разрушение своего детского мифа о пушкинской дуэли).

Магия цветаевских слов — почти как при чтении ее стихов — очаровывает и погружает читателя в тот самый «столбняк на берегу», когда «погружение в волны» (в данном случае — «в волны» пушкинского текста) — для восстановления собственного восприятия его *до* цветаевского преломления — становится трудным. Впрочем, на Анну Ахматову подобная «магия» явно не производила впечатления — такой «переизбыток», как она считала, субъективно-своевольного толкования раздражал ее.

При чтении цветаевских слов — «со всем весом судьбы и отказа» — невольно вспоминается слишком многое из *ее* жизни и судьбы: ведь это именно *ее* сокровенное свойство — будучи «очарованной», не торопить реальную встречу, даже подсознательно избегать ее (так было с ее отказом от возможной встречи с Блоком, откладыванием на туманный срок встреч с Рильке и Пастернаком).

Но были ли у нее объективные основания «приписывать» подобное свойство Пушкину? Если бы Пушкин и в самом деле, как думала Марина в детстве, был очарован тогда именно морем — неужели он остался бы на берегу? Даже и «ее» Пушкин — тот «скалозубый, нагловзорый» «африканский самовол», тот, кто в песню Вальсингама в «Пире во время чумы» вложил сокровенное свое — «Есть упоение в бою, / И бездны мрачной на краю», — неужели он остался бы в мире туманных мечтаний? Ведь *такого* могла удержать только сильная земная страсть!

Доверие к своей поэтической и женской интуиции — при всей мудрости многих прозрений — порой все же обманывало Цветаеву (что, как известно, приносило ей и в жизни немало горечи). Случилось это и в данном эпизоде ее пушкинианы.

С Анной Ахматовой (в ее пушкиниане) такого не случилось ни разу. Именно потому, что она намеренно «дистанцировалась» в своих исследованиях о Пушкине от себя — поэта, не позволяла себе бездоказательных утверждений, тщательно перепроверяла выводы.

И все же... Инна Лиснянская, назвав свою книгу о «Поэме без героя» строкой из этой поэмы «Шкатулка с тройным

дном»<sup>24</sup>, нашла ключ, думается, ко всему ахматовскому творчеству, в том числе и к ее такой, казалось бы, «объективно академической» прозе.

«...Самопризнания в его (пушкинских. — Л. К.) произведениях так незаметны, и обнаружить их можно лишь в результате тщательного анализа»<sup>25</sup> — эти слова Анны Ахматовой объясняют многое и в ее методе. Погружаясь и эмоционально вживаясь в конкретные сюжеты пушкинских произведений и его судьбы, она «спрятала» на этих страницах немало «самопризнаний». Это ощущается даже в самом выборе выделенных ею «крупным планом» (и предпочтенных возможным другим!) сюжетов... Так, она прочла в нейтральном (на первый взгляд) примечании к «Полтаве» — «Обезглавленные тела Искры и Кочубея были отданы родственникам и похоронены в Киевской Лавре» — горестный подтекст: «Этим Пушкин, несомненно, горько попрекает Николая I, который не только не вернул родным тела казненных декабристов, но велел закопать их на каком-то пустыре»<sup>26</sup>. Так, в картине «печального острова» (в недописанном пушкинском отрывке 1830 года «Когда порой воспоминанье...») она «узнала» место, где Пушкин предполагал могилу казненных декабристов, а в письме П. Вяземского жене, где описывалась их с Пушкиным поездка в Петропавловскую крепость в 1828 году, «между строк» прочитала намеки на истинную цель их поездки — поиск безымянной могилы... Ее Пушкин должен был искать могилы друзей — она не могла бы любить его так, будь он иным, но как исследователь Анна Ахматова нуждалась в доказательствах, и высокая радость посещала ее, когда удавалось их найти. Погрузившись в этот горестный сюжет, она не могла не думать о своей «людоедской эпохе», о затерянных безвестных могилах многих дорогих людей — Гумилева, Мандельштама, Пунина, о «кремлевском горце» и запредельном масштабе его злодеяний, в пушкинскую эпоху непредставимом.

«Ахматова не рукопись пушкинскую расшифровала, а силую родства биографии *вспомнила* вместе с ним то, что и он, и она всегда носили в душе, — казнь близких...» Она проникла в «отдаленное страданье»: «это его память о погибших друзьях и братьях — “о тех, кто в ночь погиб”, как о своих погибших друзьях и братьях сказала Ахматова»<sup>27</sup>. Лидии Чуковской, много лет знающей Ахматову ближе и глубже многих, этот

---

<sup>24</sup> *Лиснянская И* Шкатулка с тройным дном Калининград, Моск обл Музей М И Цветаевой в Болшеве, 1995

<sup>25</sup> *Ахматова А* Указ изд Т 2 С 85

<sup>26</sup> Там же С 123

<sup>27</sup> *Чуковская Л* Указ соч Т 2 С 51

пласт ее пушкинианы был внятн — как продолжение их общего мира... (По ее свидетельству, Анна Андреевна в 1921 году пыталась найти место захоронения расстрелянного Гумилева.)

«Силою родства биографии». Так чуткий ахматовский слух уловил острейшую болевую тему поэта и в строках, внешне выдержанных в «легких» тонах светского остроумия:

...Я только в скобках замечаю,  
Что нет презренной клеветы <...>  
Которой бы ваш друг с улыбкой <...>  
Не повторил стократ ошибкой..  
«Евгений Онегин»

Сопоставляя эти строки со многими черновыми, Ахматова выяснила, в чем состояла суть «презренной клеветы», — ключевым оказалось слово «шпион»: в «Онегине» — «им занимается Москва / Его шпионом именует» (в то время как сам герой, при всей своей «неидеальности» оставаясь порядочным человеком, «не посвящал друзей в шпионы!»); в черновике пушкинского письма к Вяземскому (1828) — «А[лексей] П[олторацкий] сболтнул в Твери, что я шпион, получаю за то 2500 в месяц (которые очень бы мнегодились <...>) и ко мне уже являются троюродные братцы за местами и за милостями царскими»<sup>28</sup>.

Пушкинский легкий шуточный тон (такой сюжет он мог бы охотно со временем подарить Гоголю!) не обманывает Анну Ахматову — в XX веке в СССР людям не понаслышке знакомы и иезуитские способы бросить тень на честного человека, и ощущение унижительного бессилия — от невозможности опровергнуть клевету, от «заразительной» атмосферы всеобщей подозрительности.

Оскорбленная за Пушкина, Ахматова проводит *расследование* (откуда и по какой причине могли поползти эти позорящие поэта слухи) — скорее «юридическое», чем историко-литературное, и в ее предположениях явно ощутим и свой собственный горький жизненный опыт: «...он был при даме (Каролине Собаньской. — Л. К.), которая вела слежку за братьями Раевскими, Орловым и т.д. и в конце концов добилась их ареста. Конечно, Пушкин понятия об этом не имел. Но Александра Раевского он поймал на повторении этой клеветы»; «Здесь очень пахнет Собаньской, которая, замечая следы, могла сказать, что в чем-то виноват Пушкин, в то время как

<sup>28</sup> Ахматова А. Указ. изд. Т. 2. С. 414. (Словосочетание «шпион правительства» так и осталось в черновике письма. — Л. К.).



это была ее работа»<sup>29</sup>. «Пахнет Собаньской», «заметая следы» — как далека эта стилистика от ахматовской лирики! Здесь явно предмет разговора диктует язык, его достойный...

Александр Раевский, которому Пушкин верил как другу, не только не вступился за его честь, но и легко (охотно?) подхватил клевету. Такие потрясения отравляют душу, лишают ее прежнего доверия к миру, и не случайно *ахматовским курсивом* выделена одна пушкинская фраза — казалось бы, совершенно для него невозможная! — из мало известного его письма 1830-го года: «*Я хандрлив и подозрителен, как мой отец*».

С беспощадной правдивостью говорится об этом тяжелом комплексе в пушкинских стихах (в одном из черновых вариантов), жесткость самоанализа приближается здесь к будущей толстовской:

— Я зрел врага в бесстрастном судии,  
*Изменника — в товарище*, пожавшем  
Мне руку на пиру, — всяк предо мной  
Казался мне изменник или враг

(Этой цитате сопутствует неожиданный ахматовский комментарий: «Прочтите эти строки любому врачу-психиатру, и он скажет: “У меня половина пациентов такая”»<sup>30</sup>).

Ахматова убеждена, что здесь выражено то, с чем он не мог разделаться всю жизнь, что стало неразстворимым мучительным сгустком, и этот явно изнутри выстраданный «диагноз» — *ее* боль, *ее* «скрытое самопризнание», *ее* драматический мотив, однако, в отличие от некоторых страниц цветаевской пушкинианы, она не «проецирует» свое на мир Пушкина, а ведет свой мотив от *объективно существующего* в нем: «Нам кажется, что такого Пушкина никогда не было — мы такого не знаем, но ведь он же лучше знал самого себя»<sup>31</sup>.

Такого Пушкина — с тем «нерастворимым мучительным сгустком» в душе — Марина Цветаева не знала и знать не могла. Она не имела возможности увидеть черновики его писем и стихов, так потрясшие Ахматову и так многое ей открывшие, но дело, думается, не только в этом: в ее эмигрантской жизни еще не было того страшного контекста, из которого неизбежно вытекали ахматовские ассоциации, когда она читала об овладевшей сознанием поэта болезненной подозрительности, мучающей его, о «презренной клевете», о безвестных могилах...

---

<sup>29</sup> Ахматова А Указ изд Т 2 С 163, 162

<sup>30</sup> Там же С 167, 165

<sup>31</sup> Там же С 165

Все это Марина Цветаева узнала (и испытала в полной мере) после своего возвращения на родину<sup>32</sup>, но ее пушкиниана к этому времени была уже давно завершена.

Такое различие жизненных контекстов и определило, наряду с другими причинами, столь разное преломление истории пушкинской дуэли и гибели в цветаевском и ахматовском творческом сознании.

\* \* \*

Чеканные цветаевские слова — их метафоричность, высокая поэзия, трагическая философия — давно стали классикой российской пушкинианы: «Первое, что я узнала о Пушкине, это — что его убили. Потом я узнала, что Пушкин — поэт <...> Нас этим выстрелом всех в живот ранили <...> по существу третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт — и чернь <...> А Гончарова, как и Николай I, всегда найдется»<sup>33</sup>.

Сколь бы внятной душе Анны Ахматовой ни была цветаевская мысль о «вечных действующих лицах» в судьбах поэтов всех времен и о роковой предопределенности исходов, она, видимо, не могла принять саму эту глобальность обобщений, ее могло возмутить в этом пренебрежение (пусть невольное) к конкретным обстоятельствам, к конкретным поступкам (или бездействию) конкретных людей, окружавших поэта, нежелание «спуститься на землю» с высоты мифа. Глобально обобщенный подход в какой-то мере «провоцирует» на невольное «снятие вины» с реальных свидетелей и участников трагедии, на недостаточное внимание именно к *этой* судьбе во всей ее человеческой неповторимости.

Анна Ахматова «поэтапно» *расследует* преддуэльную историю, придерживаясь во многом того же метода, что и в своем поиске источников «презренной клеветы» в период южной ссылки Пушкина. Впрочем, стремясь преодолеть многие укоренившиеся в массовом сознании штампы и как бы «заново» прорваться в те времена и ощутить ту далекую ре-

---

<sup>32</sup> В воспоминаниях Ариадны Эфрон о ее встрече с Ахматовой и о рассказе Анны Андреевны об их единственной встрече с Мариной Ивановой незадолго до начала войны звучат ахматовские слова именно об этом: «Ее убило то время, нас оно убило, как оно убивало многих, как оно убивало и меня. Здоровы были мы — безумием было окружающее — аресты, расстрелы, подозрительность, недоверие всех ко всем и ко вся <...> каждый друг мог оказаться предателем, каждый собеседник — доносчиком...» (Ариадна Эфрон о Марине Цветаевой. М.: Сов. писатель, 1989. С. 260).

<sup>33</sup> *Цветаева М.* Собр. соч. Т. 5. С. 57.

альность, Ахматова в своей работе «Гибель Пушкина» (и нескольких примыкающих к ней, дополняющих) соединяет два, казалось бы, несовместимых метода: с одной стороны — аналитический, «объективно-логический», с другой — художественно-психологический. Анна Андреевна создает нечто вроде «конспекта романа», под ее пером оживают Карамзины и Вяземские, сестры Гончаровы и Сергей Львович Пушкин, Трубецкой и Данзас, Геккерн и Дантес.

В свое психологическое исследование Анна Ахматова явно включает опыт пристального чтения русских классических романов (Тургенева, Толстого, Достоевского), питающий, как известно, и ее лирику. Так, в нескольких фразах она намечает «романную» историю отношений Натальи Гончаровой с Дантесом: «Я ничуть не утверждаю, что Дантес никогда не был влюблен в Наталью Николаевну. Он был в нее влюблен с января 36-го года до осени <...> Но уже летом эта любовь производила на Трубецкого впечатление довольно неглубокой влюбленности, когда же выяснилось, что она (влюбленность. — Л. К.) грозит гибелью карьеры, он быстро отрезвел, стал осторожным, в разговоре с Соллогубом назвал ее *mijaure*» <...> а под конец, вероятно, и возненавидел, потому что был с ней невероятно груб, и нет ни тени раскаяния в его поведении после дуэли»<sup>34</sup>.

Внимательно, конкретно, подробно вникает она в мотивы поступков каждого — прямого или косвенного — участника трагедии. Если в ахматовской пушкиниане даже люди другого века виноваты перед памятью поэта в некоторой глухоте к живой душевной боли его (она и себя не отделяет от этой «общей вины»), то современникам Пушкина она тем более не прощает — особенно тем из них, кто считались друзьями! — не только прямое предательство (как в одесской истории с Александром Раевским), но и малейшую нравственную неточность, и здесь важно все: и как комментируется в письмах Вяземского или Софьи Карамзиной та или иная ситуация преддуэльного года, и как безответственно могли они (и другие люди из их семей и ближайшего окружения!) подхватить запущенную врагами поэта злонамеренную сплетню, и — чего они не сделали, каких возможностей не использовали, чтобы спасти...

• Ни за кем не признает Анна Ахматова права счесть эти «подробности» незначущими, высокомерно отвернуться от них, — ведь все это так измучило Пушкина в последний год его жизни! Поражает жесткость ахматовского психологиче-

---

\* Кривлякой (фр.).

<sup>34</sup> Ахматова А. Указ. изд. Т. 2. С. 89.

ского анализа, когда за внешне благородным поведением вскрываются завуалированные мотивы, не столь благовидные, — эти страницы ее чем-то напоминают «срывание масок» в романах Толстого: «Меня же не трогает даже письмо Екатерины Карамзиной о том, как она благословила умирающего Пушкина, потому что оно написано с целью показать сыну Андрею, насколько лучше Николай I относился к ним, к Карамзиным, чем к только что погибшему поэту. В этом я вижу только безмерный эгоизм и душевную черствость, да еще, пожалуй, отражение того, как дурно относился к Пушкину сам Карамзин»<sup>35</sup>.

Категоричность подобных ахматовских суждений связана с ее обостренной нравственной требовательностью, когда речь идет о поведении друзей в экстремальных ситуациях. С этим сближается и цветаевский известный постулат — «друг — действии!», но историю гибели Пушкина Марина Цветаева воспринимала «в другом измерении». У Ахматовой же при погружении в мучительные ситуации последнего пушкинского года — и даже в происходящее после его гибели — оказалось задето много собственных болевых точек, связанных с опытом страшных лет (хотя, в отличие от Марины Цветаевой, она никогда напрямую не сопрягала свой жизненный опыт с пушкинским). В состав ахматовской пушкинианы вошло трагическое знание, обретенное ею в эпоху «века-волкодава» (эти слова Мандельштама она ощущала очень «своими»), — вольно или невольно, но вошло! Это порой ощутимо даже в «терминологии»: «С какой готовностью молодежь этого кружка (Карамзины—Вяземские) сообщала Дантесу все, что могло его заинтересовать <...> можно себе представить, как хорошо была поставлена *осведомительная служба* Геккернов до 27 января...»<sup>36</sup> (курсив мой. — Л. К.). Прозрачные ассоциации такого рода столь укорененно живут в ней, что и эта стилистика, достаточно непривычная для поклонников ахматовской поэзии, звучит в подобных местах вполне органично.

Можно сказать, что «такую Анну Ахматову мы до сих пор не знали», но «она ведь лучше знала сама себя» (как по аналогичному поводу сама она сказала о Пушкине). В ахматовской пушкиниане иногда потрясающе «укрупняются» такие психологические моменты, в которые сама «жизнь как будто начиталась Достоевского»<sup>37</sup>. Евгений Баратынский, на долю

---

<sup>35</sup> Ахматова А. Указ. изд. Т. 2. С. 105–106.

<sup>36</sup> Там же.

<sup>37</sup> Карякин Ю. Достоевский и канун XXI века. М.: Сов. писатель, 1989. С. 310 (цитата записи Д. Гранина и А. Адамовича по их «Блокадной книге»).

которого выпала тяжелая миссия присутствовать при сообщении отцу Пушкина страшного известия, описывает Вяземскому его реакцию: «Он, как безумный, долго не хотел верить. Наконец на общие, весьма неубедительные увещания сказал: “Мне остается одно: молить Бога не отнять у меня памяти, чтобы я его не забыл”. Это было произнесено с раздирающей душу ласковостью»<sup>38</sup>.

Эти слова отца, потерявшего сына, цитирует Анна Ахматова, измученная многолетней разлукой со своим сыном, когда в любой момент эта разлука могла стать вечной...

Трезвая проницательность, присущая Анне Ахматовой при анализе психологии и внутренней логики прожженных циников (это тоже напоминает открытия Достоевского, потрясшие многих его читателей), позволила ей проникнуть в холодно рассчитанный замысел Геккерн — «вслепую» использовать наивную Наталью Николаевну как свое «орудие». Ему, как и многим, было известно, что Пушкин гордился и дорожил доверием и откровенностью своей жены и что она действительно всегда была простодушно искренна с ним и вообще не способна лицемерить и притворяться. Это и легло в основу плана: умея извлечь из ее бесхитростно оброненных слов нужную им информацию, Геккерн сознательно «дезинформировал» ее и, что было для них гораздо важнее, «через нее» — Пушкина — насчет планируемых (якобы) им и Дантесом шагов в «преддуэльном поединке», а под этим прикрытием предпринимались совсем иные шаги, которых якобы осведомленный Пушкин ожидать не мог. И план этот удался.

Рассказ Анны Ахматовой об этом открытии окрашен ее нескрываемыми возмущением, презрением, гневом, острой неприязнью — но не к Геккерну, «не достаиваемому» эмоций, а — к Наталье Николаевне. Здесь скрыта некая психологическая загадка, требующая специального осмысления.

\* \* \*

Отношение к Наталье Гончаровой — едва ли не единственное, в чем ахматовская и цветаевская позиции совпадают.

Так может показаться на первый взгляд, но только на первый! На самом деле неприятие их вызвано совершенно разными причинами: каждая видит в Наталье Николаевне противоположный себе женский тип, но ведь между ними, с их известной «духовно-эстетической чужеродностью», — психологи-

---

<sup>38</sup> Ахматова А. Указ. изд. Т. 2. С. 399.

ческая пропасть, и потому, создавая образ жены поэта, каждая из них рисует портрет женщины чуждого себе, более того — прямо противоположного, психологического типа, естественно «акцентируя» в ней совершенно разные свойства души, характера, поведения.

Наталья Николаевна краснела и опускала глаза под жарким взглядом Дантеса, робела, смущалась, нервничала, чувствовала себя растерянно и неловко. Она, оказывается, совсем не обладала тем воспетым поэтом умением «властвовать собой», каким так блистательно овладела к финалу «Онегина» его любимая героиня! С удивлением узнав (из дневника Долли Фикельмон, писем Софьи Карамзиной и других источников) о *такой* «Натали», не совпадающей со сложившимся в пушкиноведении (особенно «советском») образом всегда уверенной в себе «светской львицы», блестящей и победительной «царицы бала», Анна Ахматова была раздражена и разочарована: даже помимо обиды за Пушкина, которого в такие моменты — под пристальными и часто недоброжелательными взглядами в светских гостиных и бальных залах — это ставило в остро переживаемое им ложное положение, такое неумение «властвовать собою» шокировало Анну Ахматову само по себе. Она всю жизнь (а в трудные времена и в тяжелых испытаниях — тем более!) придавала особое значение манере достойно держать себя и в какой-то степени, пожалуй, сознательно культивировала в себе соответствующие качества, которыми, впрочем, была с избытком одарена и от природы.

Многие мемуаристы вспоминают величавость, царственность, королевскую осанку Анны Ахматовой, «ореол значимости и значительности» (Д. Максимов), постоянно ее сопровождающий... «Секрет житейского образа Ахматовой и секрет ошеломляющего впечатления, которое этот образ производит, состоит в том, что Ахматова обладает системой жестов <...> Движения рук, плеч, рта, поворот головы — необыкновенно системны и выразительны <...> Перед нами откровенное великолепие, не объясненное никакими социально-бытовыми категориями» (Лидия Гинзбург)<sup>39</sup>.

Вся цветаевская «органика» была иной: вспоминают стремительную энергию ее движений, порывистость, неровность поведения, нервность, способность темпераментно «вовлекаться» в споры (Ахматова была молчалива и роняла короткие значительные реплики), а ее внезапные «уходы в себя» тоже не заключали в себе ничего царственного: «Она никогда не владела изяществом, никогда не думала о внешности», «ис-

---

<sup>39</sup> Воспоминания об Анне Ахматовой. С. 133–134.

ключительная духовная особь», «она была каким-то Божьим ребенком в мире людей» (Роман Гуль)<sup>40</sup>.

Не зная той Натальи Гончаровой, о которой с досадой и раздражением писала Ахматова (эти источники в основном стали известны позднее), Марина Цветаева была убеждена, что стиль поведения «Натали» — «только красавицы, просто красавицы» (таков был *ее* образ жены поэта) — как раз включал в себя все необходимые «царице бала» умения, но сам этот стиль был ей, в отличие от Анны Ахматовой, глубоко чужд. «...Она <...> никогда не была “богиней”, сфинксом, каким является Ахматова <...> Она была прежде всего человек — и человек страстный, неспособный на бездействие, бесстрастность, неспособный отмалчиваться, отсиживаться, отлеживаться, как это делает Ахматова <...> она была энергичным, боевым существом»<sup>41</sup> — так писал Георгий Эфрон, познакомившийся с Анной Андреевной в Ташкенте, уже после смерти матери. При всем подростковом максимализме, при всех заостренных преувеличениях (объяснимых в той страшной ситуации и состоянии, в котором он находился, — позднее прозрение, боль и обида за мать...), ощутил он именно то различие, о котором и сами они знали...

Самое резкое цветаевское неприятие вызывало все, что противоречило так высоко ею ценимому жару души (внутренний холод, равнодушие, лень душевная), поэтому думается, что узнай она о способности Натальи Николаевны так открыто-беззащитно волноваться, страдать, попадать в неловкие положения, быть детски доверчивой с мужем, — в ней, в отличие от ахматовской реакции, это могло бы вызвать теплоту сочувствия.

А жаркий румянец «Натали» в холодной зале, под недоброжелательными взглядами — вспомнив свою юность, *такое* Марина Цветаева никак не могла бы ощутить как чуждое себе (это подтверждают воспоминания ее сестры Анастасии об их общей юности). Но ей не суждено было узнать об этом, и она осталась при своем убеждении (что «только красавица»), в соответствии с которым просто отрицала в жене поэта личность и отказывала ей вообще в каком-либо отдельном, индивидуальном отношении (что в конечном итоге получается даже более жестоко, чем все-таки «лично направленный» гнев и осуждение Ахматовой): «Наталья Гончарова *просто* роковая женщина, то пустое место <...>, вокруг которого сталки-

---

<sup>40</sup> Воспоминания о Марине Цветаевой С 256

<sup>41</sup> Эфрон Георгий Письма М Дом-Музей Марины Цветаевой, Музей М И Цветаевой в Болшеве, 2002 С 64

ваются все силы и страсти <...> Гончарова не причина, а повод смерти Пушкина, с колыбели предначертанной. Судьба выбрала самое простое, самое пустое, самое невинное орудие: кра-савицу»<sup>42</sup>.

Столь метафорическое обобщение было неприемлемым для Анны Ахматовой именно в нравственно-психологическом смысле. В ее позиции, полной суровой непримиримости, поражает отсутствие сочувствия — в тех (ею же с увлекательным психологизмом описанных!) ситуациях, где, казалось бы, каждый человек, попавший в такую «ловушку», сочувствия заслуживает: ведь бессознательно исполняя «под дирижирование» Геккерна роль, которая принесла много горя ее мужу и ей самой, Наталья Николаевна была *жертвой интриги*, — этого Анна Ахматова не отрицает, ведь она ни словом не обвиняет ее в коварстве, не подозревает в лицемерии. В истории отношений с Дантесом (в нарисованной Ахматовой картине) «Натали» тоже оказывается «жертвой» холодной интриги — когда влюбленность его прошла, и он притворялся по причинам, к любви отношения не имеющим, «она <...> продолжала *типо* верить в великую страсть Дантеса»<sup>43</sup> (курсив мой. — Л. К.). В традициях русской литературы — сочувствие «продолжающей верить» неопытной женщине, и такими словами — «продолжала *типо* верить» — классики никогда не писали о своих обманутых героинях. Да и для ахматовского лексикона — и в прозе ее, и тем более в поэзии — нельзя сказать, чтобы это слово было слишком характерно, и объяснить его в данном случае можно только крайней степенью ее раздражения. С чем оно связано?

Тут необходимо снова вернуться к трагическому опыту, накопленному Ахматовой в российской жизни XX века — «века-волкодава»... Лидия Чуковская вспоминает, как возмущена была Анна Андреевна непониманием наивных иностранцев, не умевших вникнуть в страшные реалии советской жизни, когда английские студенты в самом начале хрущевской оттепели — до отмены постановления 1946 года было еще бесконечно далеко! — настояли на встрече с ней и Зоценко и в присутствии «вершителей судеб» из партийной начальственной верхушки задали им вопрос об их отношении к постановлению (искренне не понимая, в какое положение ставят их!). Михаил Зоценко, веря в возможность какого-то диалога с этими руководителями, в возможность «преодоления непонимания» (он ощущал это именно так!), пытался отвечать ис-

<sup>42</sup> Цветаева М. Указ. изд. Т. 4. С. 84–85.

<sup>43</sup> Ахматова А. Указ. изд. Т. 2. С. 99.



кренне, а Анна Ахматова с непроницаемым лицом на казенном — особенно чудовищном в *ее* устах! — языке ответила, что согласна с партийной критикой.

О выступлении Зощенко, усугубившем его положение изгоя, она говорила с огорчением, сочувствием, но и с немалой долей досадливого удивления: «Михаил Михайлович человек гораздо более наивный, чем я думала. Он вообразил, что в этой ситуации можно что-то им объяснить: “сначала я не понял, потом кое с чем согласился...”». Кое с чем! Отвечать в таких случаях можно только так, как ответила я. *Можно и должно. Только так*»<sup>44</sup> (курсив мой. — Л. К.).

Кроме сознания практической необходимости такого поведения (чтобы «выжить» самой и не подвести сына, еще не освободившегося из лагеря), есть в настойчивом эмоциональном ударе этих слов и некий потаенный пафос: в отличие от Зощенко, верящего в какую-то общность идеалов с теми, кто мучил, унижал, губил его, Анна Ахматова четко осознавала и ощущала себя на подобных собраниях во *вражеском окружении*. И «окружение» это в ее глазах не заслуживало ничего иного, кроме циничного притворства, общения «на его языке» — «только так!» Высокой чести слышать искренние слова Анны Ахматовой оно не заслуживает (потому и за Михаила Зощенко ей обидно — *перед кем* раскрывался?).

Вера в нормальные человеческие качества людей этого типа, «законченным воплощением» которого она считала Геккерн и в немалой степени — Дантеса, — в возможность говорить с ними на языке, предполагающем в собеседнике совесть, порядочность, способность понимать и сочувствовать, — возмущала ее как «непростительная тупость». *Наивность и непонимание в глазах Анны Ахматовой не были «извиняющими обстоятельствами»* — именно потому, что она знала, к каким страшным последствиям могут привести эти объективно, казалось бы, «невинные» качества. Таким образом, собственный *опыт отношений с подлецами* (во всей жути «доставшейся» ей конкретной исторической реальности) явно «входит в состав» гневного восприятия Анной Ахматовой той «роли», которую — не ведая, что творит! — сыграла в последний год жизни Пушкина Наталья Гончарова.

\* \* \*

Мир этих ассоциаций, неизбежных при долгой жизни в СССР в те годы, окончательно прояснился для Марины Цве-

---

<sup>44</sup> Чуковская Л. Указ соч. Т. 2. С. 155.

таевой после ее возвращения в 1939 году, но об ужасе несвободы она много думала и раньше, мучаясь тяжелыми предчувствиями. Размышляя над трагической альтернативой — возвращаться на родину или нет (пока решение зависело от нее), она писала о несовместимости своей личности с атмосферой сталинской Москвы: «я — с моей *Furchtlosigkeit* [«бесстрашие». — нем.], я, не могущая подписать приветственный адрес великому Сталину, ибо *не я* его назвала великим и <...> ненавижу каждую торжествующую казенную церковь»<sup>45</sup> (из письма А. Тесковой).

На фоне этого тяжелого сюжета писалось цветаевское эссе «Пушкин и Пугачев», и, может быть, с этим связан тот факт, что цветаевское *знание*, в некоторых сюжетах ее пушкинианы не совпавшее с конкретными ситуациями и переживаниями Пушкина, в данном случае в полной мере послужило объективному открытию — никто до нее не прочитал историю взаимоотношений «Вожатого» — Пугачева и Гринева *так*: со всей цветаевской страстностью воспето самозабвенное великодушие Пугачева, отпустившего на волю человека, находившегося в полной его власти и не только отказавшегося перейти к нему на службу, но и честно ответившего, что давал присягу государыне и потому не может обещать не воевать против него; воспета способность Пугачева оценить и полюбить человека из вражеского лагеря именно за не изменившее ему чувство собственного достоинства: «Пугачев знал, что Гринев, под страхом смерти не поцеловавший ему руки, ему служить не может»<sup>46</sup>.

Далеко не «академический» интерес к проблеме одушевлял ее взрослое погружение в воспоминания о своем детском восприятии «Капитанской дочки»... «Новая Экономическая Политика <...> меньше всего занята вопросами этики: справедливости к врагу, пощады к врагу, благородства к врагу», — писала она Алексею Толстому и, обвиняя его в безответственном и неблагородном поступке, ставила в пример благородство человека «враждебного лагеря»: «За 5 минут до моего отъезда из России <...> ко мне подходит человек: коммунист, шапочно-знакомый, знавший меня только по стихам. — “С вами в вагоне едет чекист. Не говорите лишнего”. Жму руку ему и не жму руки вам»<sup>47</sup>.

В этой точке наблюдается — при всех коренных расхождениях! — *важное сближение позиций* Марины Цветаевой и Анны

---

<sup>45</sup> Цветаева М. Указ. изд. Т. 6. С. 433.

<sup>46</sup> Там же. Т. 5. С. 502.

<sup>47</sup> Там же. Т. 6. С. 219.

Ахматовой: обе они «услышали» один болевой мотив, глубоко скрытый в разных пушкинских сюжетах и потому далеко не очевидный для «простого читателя». Надо обладать предельно настроенным на эту волну слухом, чтобы «расслышать» его...

Речь идет о *горьком упреке поэта царю*: Анна Ахматова прочла более общий упрек в отсутствии благородства по отношению к политическим противникам — в якобы «нейтральных» примечаниях к «Полтаве», а конкретный (за нарушение царского слова) — в «Сказке о золотом петушке», где в сцене ссоры звездочета с царем она увидела «автобиографические черты». Обратив особое внимание на дату создания этой сказки — 1834 год, к которому Пушкин уже в полной мере «знал цену царскому слову», Анна Андреевна приходит к выводу, что в этом сюжете «элементы личной сатиры зашифрованы с особой тщательностью», так как «предметным адресатом был сам царь Николай I» («Последняя сказка Пушкина») <sup>48</sup>.

Аналогичный «упрек поэта царю» Марина Цветаева «услышала» в диалогах Гринева и Пугачева, где в гриневских ответах, в их интонации «страстной и опасной правды», она ощутила «жутко-автобиографический элемент» <sup>49</sup>.

Неожиданная близость подходов в данном случае обнаруживается и во внутренней логике прочтения пушкинской «тайнописи», в способах «раскапывания» замаскированных мотивов: прочтение за «верхним слоем» пушкинского текста прозрачной (для посвященных в сюжеты его жизни) аналогии или подразумеваемого (но «недоговоренного») сравнения.

Так, в примечаниях к «Полтаве» сказано о благородстве Петра I, давшего родственникам казненных врагов возможность достойно похоронить их и сохранить могилы, — и Ахматовой прочитано «напрашивающееся» сравнение (подразумеваемое) с неблагородным поведением Николая I после казни декабристов.

В «Капитанской дочке» Пугачев после отказа служить ему отпускает Гринева на волю — Марина Цветаева прочла в этом горькую аналогию с поведением Николая I, пообещавшего (лицемерно) поэту свободу за честный ответ (о 14 декабря) и обманувшего доверие, не сдержавшего слово.

Цветаевское восхищение благородством самозваного Петра III (Пугачева) перекликается с ахматовским уважением к достойному поступку Петра I, и не случайно в цветаевском

---

<sup>48</sup> Ахматова А. Указ. изд. Т. 2. С. 24, 25.

<sup>49</sup> Цветаева М. Указ. изд. Т. 5. С. 503.

стихотворении «Петр и Пушкин» Петр I отпускает поэта на волю —

Иди! Ни о чем не печалься!  
Чай, есть в паруса кому дуть!  
Захочется — так ворочайся!  
А нет — так и дверь позабудь! —

с той же душевной щедростью и широтой, с какой Пугачев отпустил Гринева.

В предельном цветаевском накале прославления таких поступков ощутимы и ее страстное желание *такой* свободы — Пушкину, Пастернаку, Андрею Белому... — и жгучая боль от того, что и тогда (и — потом, всегда...) — «царь поэта *не* отпустил...».

И эта боль и оскорбленность за поэта, эта горечь от извечного неуважения властителей к таланту, к личности, к памяти — поверх всех барьеров расхождений — объединяет их, таких разных...

---

журнал  
критики и литературоведения

# ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Июль — Август 2005

ОСНОВАН В АПРЕЛЕ 1957 ГОДА

Учредитель: Фонд «Литературная критика»

## В НОМЕРЕ:

**О чем спорят литературоведы**

**Перечитывая «Поднятую целину» Шолохова**

**Заметки о творчестве Набокова**

**«Гарри Поттер»  
и жанры «взрослой» литературы**

**Памяти Татьяны Бек**

**Литературные провокации П. Альтенберга**

**Бабель — редактор и переводчик  
Мопассана**